

## Литературные опасения за кое-что

(Все на свете суета)

Явилась *История государства Российского*, сочинение Карамзина. Никогда не отдавал ей издатель В. Е.<sup>4</sup> никакой справедливости, называл других журналистов солдатами, которые отдают честь проезжающему генералу (В. Е. 1818 г., XVIII, с. 125)<sup>5</sup>, точно так же, как называл он Карамзина за его записку о достопамятностях московских — *плаксивою пташкою* (В. Е. 1818 г., № 13, с. 47). Потом принялся разбирать он предисловие к *Истории госуд<арства> Российского*, насмешил всех этим разбором, рассердился, замолчал и открыл убежище критикам на Карамзина: все печаталось у него в Вестнике, все, и дошло до того, что в 1825 г. *Ист<ория> гос<ударства> Российского* названа была — перифразою *Истории Щербатова* (В. Е. № 21, с. 21).

## История государства Российского. Сочинение Карамзина

СПб. Томы I—VIII, 1816 года, IX, X, XI, 1821 г., XII, 1829 года (первые восемь томов напечатаны вторым изданием в 1816 и 1819 годах)

Означив в заглавии статьи все двенадцать томов «Истории государства Российского», мы не хотим, однако ж, предлагать читателям нашим подробного разбора сего замечательного творения, не будем следовать за творцом его подробно во всех отношениях, рассматривать «Историю государства Российского» с общих и частных сторон и сочинителя оной как историка и палеографа, философа и географа, археографа и исследователя исторических материалов. Критика такого объема не может быть статьею журнала и потому уже, что огромностью своею превзошла бы она пределы, которые должны быть полагаемы статьям изданий повременных. Мы хотим только вообще обозреть творение Карамзина в то время, когда *последний* том сего творения показал нам предел труда, коего достигнул незабвенный для России писатель. Если журналы должны быть зеркалом современного просвещения, современных мнений, если они должны передавать публике голос людей высшего образования,

их взгляд на предметы важные, обращающие на себя внимание, то, конечно, обязанностью журналиста должно почтить суждение об «Истории государства Российского», основанное на выводах из разнообразных мнений и на соображениях людей просвещенных. Решительно можно сказать, что не было прежде и, может быть, еще долго не будет в литературе нашей другого творения, столь великого, обращающего на себя такое сильное, всеобщее внимание отечественной публики. В Европе сочинение Карамзина принято было с любопытным участием, как представитель нашего просвещения, наших мнений о важнейших предметах общественной жизни, нашего взгляда на людей и события. Показать причины восторга, коим русские читатели приветствовали труд Карамзина, холодности, с какою отозвались европейцы, узнав его в переводах, и руководствуясь мнениями критиков, достойных уважения, означить степень, какую занимает Карамзин в истории современной литературы, современного просвещения, нашего и европейского, означить заслугу его, оценить право его на славу — вот цель, нами предположенная.

Не думаем, чтобы благомыслящие люди поставили в вину рецензенту его неизвестность и огромность славы творения, им рассматриваемого. Местничество в литературе пора нам изгнать, как изгнан сей гибельный предрассудок из гражданского нашего быта. Беспристрастие, почтение к человеку, его достойному: таковы обязанности, исполнения коих должна требовать публика от критика не только творений Карамзина, но и всякого явления литературного. Более ничего. Негодование, с коим публика, и — осмеливаемся прибавить — сочинитель сей статьи, встретили в прошлом году критику г-на Арцыбашева на «Историю государства Российского»<sup>6</sup>, происходило от неприличного тона, от мелочничества, несправедливости, показанных г-м Арцыбашевым в его статьях. Напротив, чем более голосов, чем более мнений. Тем лучше. Мы должны истреблять несчастную полемику, бесславящую хорошего литератора, должны предоставлять ее тем людям, которые хотят сделаться известными хотя бы бесславием, но критика справедливая, скромная, судящая о книге, не об авторе, далека от того, что многие у нас почитают критикою, так далека, как небо от земли. Критика есть дыхание литературы, и всякое покушение достигнуть критики дельной должно по крайней мере быть извинено людьми беспристрастными.

Другое обстоятельство, гораздо важнейшее, может занять нас. Спрашиваем: настало ли для нас время суждений о Карам-

зине? *Теперь* настало. Уже три года прошло, как все земные отношения, все личные пристрастия, предубеждения погребены в могиле незабвенного: остались только его творения, наше наследство неотъемлемое. Для нас, *нового поколения*, Карамзин существует только в истории литературы и в творениях своих. Мы не можем увлекаться ни личным пристрастием к нему, ни своими страстями, заставлявшими некоторых современников Карамзина смотреть на него неверно. Труд Карамзина совершен: картина великого художника представлена нам, недоконченная, правда, но уже хлад смерти оковал животворную руку творца, и мы, скорбя о потере, можем судить о труде его как о создании целом. К счастью нашему, если Карамзин и слишком рано умер, для надежд наших, то все многое им сделано, и творение его столь же важно, сколь огромно. Он не успел изобразить нам избавления отечества великим Мининым и славным Пожарским; не успел повествовать царствований кроткого Михаила, мудрого Алексия, божественного Петра, дел великих и чудесных, совершившихся в течение семидесяти с лишком лет, с 1611 года (на котором он остановился) по 1689 год. Здесь хотел кончить Карамзин свое творение. Кратким очерком изобразить остальную историю России, от восшествия на престол Петра Великого до нашего времени, и указать на будущую судьбу отечества. Но *будущее известно единому Богу*, сказал Карамзин, посвящая Историю свою Александру Благодословенному, и мы при гробе Карамзина, слыша о предположениях его, могли повторить его слова. Несмотря на все это, Карамзин — повторим сказанное нами — многое успел исполнить по своему предположению: он изобразил нам события русской истории за семь с половиною столетий, преследовал ее от колыбели русского народа до возмужалости русского государства, сего дивного исполина века. Мало для нас, дороживших славою Карамзина, — довольно для славы его. Он успел вполне развить талант свой, далее он и не мог уже шагнуть. В двенадцати томах «Истории государства Российского» *весь* Карамзин.

Время летит быстро, и дела и люди быстро сменяются. Мы едва можем уверить себя, что почитаемое нами настоящим, сделалось *прошедшим*, современное — *историческим*. Так и Карамзин. Еще многие причисляют его к нашему поколению, к нашему времени, забывая, что он родился *шестьдесят* с лишком тому (в 1765 году<sup>1</sup>); что более сорока лет прошло, как он выступил на поприще литературное; что уже совершилось 25 лет, как он прекратил все другие упражнения и занялся только историею России, и, следовательно, что он приступил к

ней за четверть века до настоящего времени, будучи почти сорока лет: это такой период жизни, в который человек не может уже стереть с себя типа первоначального своего образования, может только не отстать от своего быстро грядущего вперед века, только следовать за ним, и то напрягая все силы ума.

Хронологический взгляд на литературное поприще Карамзина показывает нам, что он был литератор, философ, историк *прошедшего века, прежнего, не нашего поколения*. Это весьма важно для нас во всех отношениях, ибо сим оцениваются верно достоинства Карамзина, заслуги его и слава. Различение века и времени каждого предмета есть истинное мерило верности суждений о каждом предмете. Сие мерило усовершенствовано умом мыслителей нашего времени. Еще древние знали его, и Цицерон говорил, что могут быть *non vitia hominis, sed vitia saeculi*\*. Но оттого, что мнение это было несовершенно, неполно, происходило множество ошибок в суждениях.

Если бы надобно было сравнивать с кем-либо Карамзина, мы сравнили бы его с Ломоносовым: Карамзин шел с того места, на котором Ломоносов остановился; кончил то, что Ломоносов начал. Подвиг того и другого был равно велик, важен, огромен в отношении России. Ломоносов застал стихии языка русского смешанные, неустроенные; литературы не было. Напитанный изучением писателей латинских, он умел разделить стихии языка, привести их в порядок, образовать первоначальную литературу русскую, учил грамматике, риторике, писал стихи, был оратором, прозаиком, историком своего времени. После него до Карамзина, в течение 25 лет, было сделано весьма немного. Карамзин (заметим странную случайность: родившийся в самый год смерти Ломоносова), образованный изучением писателей французских, проникнутый современным просвещением Европы, которое было решительно все французское, перенес приобретенное им в родную почву, и сильным, деятельным умом своим двинул вперед современников. Подобно Ломоносову, чрезвычайно разнообразный в своих занятиях, Карамзин был грамматиком, стихотворцем, романистом, историком, журналистом, политическим писателем. Едва ли найдем какую-либо отрасль современной ему литературы, на которую он не имел бы влияния; самые ошибки его были поучительны, заставляя умы других шевелиться, производя недоумения, споры, из коих являлась истина.

---

\* пороки не человека, но века (*лат.*).

Так действовал Карамзин, и вследствие сего должно оценивать его подвиги. Он был, без сомнения, *первый* литератор своего народа в конце прошедшего столетия, был, может быть, самый просвещенный из русских современных ему писателей. Между тем век двигался с неслыханной для того времени быстротою. Никогда не было открыто, изъяснено, обдуманно столь много, сколько открыто, изъяснено, обдуманно в Европе в последние двадцать пять лет. Все изменилось и в политическом, и в литературном мире. Философия, теория словесности, поэзия, история, знания политические — все преобразовалось. Но когда начался сей новый период изменений, Карамзин уже кончил свои подвиги вообще в литературе. Он не был уже действующим лицом; одна мысль занимала его: история Отечества: ей посвящал он тогда все время и труды свои. Без него развилась новая русская поэзия, началось изучение философии, истории, политических знаний сообразно новым идеям, новым понятиям германцев, англичан и французов, перекаленных (*retrempe's*, как они сами говорят) в страшной буре и обновленных на новую жизнь.

Какое достоинство имеют теперь для нас сочинения, переводы и труды Карамзина, исключая его историю? *Историческое, сравнительное*. Карамзин уже не может быть образцом ни поэта, ни романиста, ни даже прозаика русского. Период его кончился. Легкая проза Жуковского, стихи Пушкина выше произведений в сих одах Карамзина. Удивляемся, как шагнул в свое время Карамзин, чтим его заслугу, почетно вписываем его имя в историю литературы нашей, но видим, что его русские повести не русские; его проза далеко отстала от прозы других новейших образцов наших; его стихи для нас проза; его теория словесности, его философия для нас недостаточны.

Так и должно быть, ибо Карамзин не был гений огромный, вековой: он был человек большого ума, образованный по-своему, но не принадлежал к вечно юным исполинам философии, поэзии, математики, жил во время быстрого изменения юной русской литературы, такое время, в которое необходимо все быстро изменяется. Он увлекал современников, и сам был увлечен ими.

Объяснив себе таким образом Карамзина как литератора вообще, обращаемся к его Истории.

Она заняла остальные *двадцать три года* жизни Карамзина (с 1802 по 1826 год); он трудился ревностно, *посвятил ей лучшее время своей жизни*. Но стал ли он наряду с великими историками древнего и нового времени? Может ли его история назваться произведением *нашего времени*?

Сравнение его с древними и новыми историками, коих имена ознаменованы славою, мы увидим впоследствии, но теперь скажем только, что как сам Карамзин вообще был писатель не нашего века, так и Истории его мы не можем назвать творением нашего времени.

В этом мнении нет ничего оскорбляющего память великого Карамзина. Истинные, по крайней мере современные нам идеи философии, поэзии и истории явились в последние двадцать пять лет, следственно, истинная идея истории была недоступна Карамзину. Он был уже совершенно образован по идеям и понятиям своего века и не мог переродиться в то время, когда труд его был начат, понятие об нем совершенно образовано и оставалось только исполнять. Объяснимся подробнее.

Мы часто слышим слово *История* в смысле запутанном, ложном и превратном. Собственно слово сие значит: *деенписание*, но как различно можно принимать и понимать его! Нам говорят об историках, и исчисляют сряду: *Иродот*<sup>8</sup>, *Тацит*<sup>9</sup>, *Юм*<sup>10</sup>, *Гизо*<sup>11</sup>, не чувствуя, какое различие между сими знаменитыми людьми и как ошибается тот, кто ставит рядом Иродота и Гизо, Тита Ливия<sup>12</sup> и Гердера<sup>13</sup>, Гиббона<sup>14</sup> и Тьерри<sup>15</sup>, Робертсона<sup>16</sup> и Минье<sup>17</sup>.

Новейшие мыслители объяснили нам вполне значение слова *история*; они показали нам, что должен разуметь под сим словом философ. История, в высшем знании, не есть складно написанная летопись времен минувших, не есть простое средство удовлетворять любопытство наше. Нет, она практическая поверка философских понятий о мире и человеке, анализ философского синтеза. Здесь мы разумеем только *всеобщую историю*, и в ней видим мы истинное откровение прошедшего, объяснение настоящего и пророчество будущего. Философия пронизает всю бездну минувшего: видит творения земные, до человека бывшие, открывает следы человека в таинственном Востоке и в пустынях Америки, соображает предания людские, рассматривает землю в отношении к небу и человека в отношении к его обиталищу, планете, движимой рукою провидения в пространстве и времени. Такова до-история (*Urgeschichte*) человека. Здесь историк смотрит на царства и народы, сии планеты нравственного мира, как на математические фигуры, изображаемые миром вещественным. Он соображает ход человечества, общественность, нравы, понятия каждого века и народа, выводит



цепь причин, производивших и производящих события. Вот история высшая.

Но формы истории могут быть разнообразны до бесконечности. История может быть критическая, повествовательная, ученая; в основании каждая из них должна быть *философическая*, по духу, не по названию, но по сущности, воззрению своему (ибо просто прибавив название: *философическая*, по примеру Райналя<sup>18</sup>, мы не сделаем никакой истории в самом деле философскою). Всеобщая история есть тот огромный круг, в коем вращаются другие бесчисленные круги: истории частные народов, государств, земель, верований, знаний. Условия всеобщей истории уже определяют, каковы должны быть сии частные истории. Они должны стремиться к основе всеобщей истории, как радиусы к центру; они показывают философу: какое место в мире вечного бытия занимал тот или другой народ, то или другое государство, тот или другой человек, ибо для человечества равно выражают идею — и целый народ, и человек исторический; человечество живет в народах, а народы в представителях, двигающих грубый материал и образующих из него отдельные нравственные миры.

Такова истинная идея истории; по крайней мере мы удовлетворяемся ныне только сею идеею истории и почитаем ее за истинную. Она созрела в веках, и из новейшей философии развилась в истории, точно так же, как подобные идеи развились из философии в теориях поэзии и политических знаний.

Но если сия идея принадлежит нашему веку, скажут нам, следственно, никто не удовлетворит наших требований, и самые великие историки должны померкнуть при лучах немногих новейших, скажем более — *будущих* историков.

Так, если нам указывают на грека, римлянина как на пример высочайшего совершенства, какого только мог достигнуть человек, как на образец, которому должны мы безусловно следовать, — это ложный *классицизм* истории; он *недостаточен* и *неверен*. Но, отвергнув его, мы всякому и всему найдем место и черед. Не думайте, чтобы мы хотели заставить каждого быть философом. Мы сказали, что формы истории разнообразны до бесконечности; в каждой форме можно быть совершенным, по крайней мере великим историком; исполните только условия рода, вами избранного, и вы удовлетворите требования современного совершенства.

История может быть *прагматическая*, если вы рассматриваете события, положим, какого-нибудь государства в отношении

к системе государств, в коей оно заключалось, и сию систему ко всеобщей истории народов, если вы сводите все причины на причины и открываете связь сих причин с другими, поясняя причины событиями, и обратно, поясняя чрез то историю человечества, в том месте, веке, предмете, который вы избрали. Такова *История Европейской гражданственности* (Histoire générale de la civilisation en Europe, depuis la chute de l'empire Romain jusqu'à la révolution française\*) Гизо. Можете взять объем меньше, рассмотреть события государства или периода, не возводя его к всеобщей истории человечества, но сия цель должна быть в уме историка. Таковы: «История Карла V», соч. Робертсона, «История падения Римской империи», соч. Гиббона, творения, которые можно было бы назвать совершенными в своем роде, если философия сих историков была выше той, которую они почитали за совершенную, если бы понятия сих писателей о политических знаниях были доведены до нынешней зрелости, если бы материалы были в их время лучше обработаны. Наконец, находим еще род истории, который назовем *повествовательным*. Это простое повествование событий; если можно, красноречиво, но *главное* — верно изложенных. Здесь собственно нет историка: говорят события, но требуется искусство необыкновенное. *Верность* надобна не в одних годах, но в духе, выражении, делах, словах действующих лиц, в нравах, обычаях, поверьях, жизни народа. Древние историки в этом примеры совершенства, и писателю такой истории можно повторить слова Карамзина: «Не подражай Тациту, но пиши так, как он писал бы на твоём месте». Из новейших превосходный пример такой истории показал нам Барант<sup>19</sup> и, как историк военный, Наполеон, в описании своих походов. Иродот, Фукидид<sup>20</sup>, Тит Ливий, Тацит очаровывают своими повествовательными историями. Они живут в своих описаниях, дышат воздухом с теми людьми, коих изображают; это Омировы<sup>21</sup> поэмы в мире истории. Важнейшее затруднение для нас, новых, если мы хотим переселиться в другой век, в другой народ, состоит в отделении себя от всех мнений, от всех идей своего века и народа, в собрании красок для картины, в изыскании истины обширную критикою. Древние о многом говорят несправедливо, но они уверены в истине с таким добродушием, с такою убедительностью, с какою Омир был уверен в своей географии и мифологии; сверх того, нам нечем поверить их рассказа, и мы верим на слово.

---

\* Всеобщая история цивилизации в Европе с падения Римской империи до Французской революции (фр.).



Потому историческая критика совершенно отнимает у древних наименование историко-философов, историков прагматических, и смотрит на них только как на красноречивых повествователей.

Точно так же, как французы составили особенный род *классических* творений из ложного подражания древним, ложное понятие о древних историках произвело особый *классицизм исторический*. Хотели заставить подражать древним, перенимали у них все формы, выражения, даже слова. Ошибка была в том, что подражали внешним формам, не понимая духа древних. Впоследствии смешали все это с ошибочною философиею, с умничанием, апофегмами и сентенциями, несносными и пошлыми. И с самого восстановления европейского просвещения, история после монастырских летописей и легенд, являлась безобразною, нелепою смесью; изредка только мелькали Макиавелли<sup>22</sup>, Боссюэты<sup>23</sup>, Монтескье<sup>24</sup>. В прошедшем веке оказалось стремление к истории более совершенной, и в то время, когда Гердер постигал тайну всеобщей истории, Иоанн Миллер<sup>25</sup> угадывал, как должно писать новым историкам повествовательную историю, германские ученые явили истинную критику истории, французы первые начали образовывать, по следам Макиавелли, Боссюэта и Монтескье, историю философическую. Их опыты были недостаточны, и недостатки сих опытов отозвались в творениях Юма, Гиббона, Робертсона, последователей французской философии XVIII века. Надобно было соединить труды Шеллинггов<sup>26</sup>, Шлегелей<sup>27</sup>, Кузенов<sup>28</sup>, Шлецеров<sup>29</sup>, Гердеров, Нибуров<sup>30</sup>, узнать *классицизм* и *романтизм*, узнать хорошо политические науки, оценить надлежащим образом древних, вполне сведать требования новейших, может быть, даже родиться Шиллеру<sup>31</sup>, Цшокке<sup>32</sup>, Гете<sup>33</sup>, В. Скотту<sup>34</sup>, дабы могли мы наконец понять, что есть история? Как должно ее писать и что удовлетворяет наш век?

Приложим все сии рассуждения к «Истории государства Российского», и мы увидим, что творения Карамзина, в отношении к истории, какой требует наш век, есть то же, что другие сочинения Карамзина в отношении к современным требованиям нашей литературы — она неудовлетворительна.

Карамзин не мог выйти и не вышел из понятий своего века, времени, в которое только что начала проявляться идея философической истории, и еще не ясно определены были отношения древних к нам, и особые условия новых писателей; политические знания были не установлены; повествовательная часть истории не понята вполне.

Как философ-историк, Карамзин не выдержит строгой критики. Почитайте мысли его об истории, и вы согласитесь с этим без дальнейших объяснений.

«История, — так начинает Карамзин свое Предисловие к “Истории государства Российского”, — История в некотором смысле (?) есть священная книга народов: главная, необходимая; зеркало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего»<sup>35</sup>.

Прекрасные фразы, но что в них заключается? Священная книга в некотором смысле, и в то же время — главная, необходимая, зеркало бытия, скрижаль откровений, завет предков, объясняют ли нам все сии слова сущность предмета? Таково ли должно быть определение истории?

«Правители, законодатели (продолжает Карамзин) действуют по указаниям Истории... Мудрость человеческая имеет нужду в опытах... Должно знать, как искони мятежные страсти волновали гражданское общество и какими способами благотворная власть ума обуздывала их бурное стремление... И простой гражданин должен читать историю. Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках, утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще ужаснейшие, и государство не разрушалось; она питает нравственное чувство, и праведным судом своим располагает душу к справедливости, которая утверждает наше право и согласие общества. Вот польза».

Все это сказано прекрасно, но так ли должен смотреть на историю философ? Сделавши сначала определение риторическое, нам говорят, что история полезна, ибо —

1-е. Правители народов справляются с нею, как судья с старым архивом, дабы решать дела так, как их прежде решали. Совершенная несправедливость!

2-е. Граждане видят, что зло всегда было, что люди всегда терпели, почему и им надобно терпеть. Утешение, подобное тому сравнению, которое употребил Карамзин в IX томе, говоря, что русские так же славно умирали под топорами палачей Царя Иоанна IV, как греки умирали при Термопилах!<sup>36</sup>

После такого ограниченного взгляда на пользу автор переходит к удовольствию истории, основанному на том, что любопытство сродно человеку, и если нравятся нам романы, вымыслы, тем более должна нравиться история, соединяя с занимательностью романа истину событий. Еще более история

отечественная, продолжает автор, и от частного эгоизма народов переходит к тому, чем бы должно было начать: важности, какую имеет история России в истории человечества. Полагаете, что вам скажут, как среди волнения IX века образовалась Россия; как заслонила она Европу от монголов в XIII веке; как вступила в систему Европы в XVIII веке; как действовала в XIX веке. Совсем нет! Автор видит *одно любопытство*: оно составляет для него все; он старается доказать, что ничуть не любопытнее и не занимательнее истории русской истории других народов; что и в нашей истории есть *картины, случаи*, которые *любопытны не менее* картин и случаев, описанных древними историками. Вы думаете, что автор скажет о феодализме варяжском, образовании русских княжеств, сближении с Грецией, слиянии Азии и Европы в России, преобразовании России рукою Петра; напротив, автор называет *пять веков* истории русской *маловажными для разума*, предметом, небогатым мыслями для прагматика, *красотами для живописца*, напоминает, что *история не роман и мир не сад, где все должно быть приятно*, и утешает наконец, что в *самых пустынях встречаются виды прелестные*, а в доказательство указывает на походы Святослава, нашествие Батыя, Куликовскую битву, взятие Казани, ослепление Василька! Или историк думает, что мы, как дети, принимаясь за его книгу, наперед спрашиваем, *не скучна ли она*, или — он не философ-историк!

Он и *не прагматик*, когда потом уверяет, что несправедливо будет, если мы пропустим *скучное начало* русской истории. «*Нега читателей* осудит ли на вечное забвение дела и судьбу наших предков? Они страдали, а мы *не захотим и слушать об них!* Иноземцы могут пропустить скучное для них, но *добрые* россияне обязаны иметь более терпения, *следуя правилу государственной нравственности*, которая ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному». Не значит ли это доказать, что тело без головы не может существовать, и можно ли историку-прагматику иметь дело с ленью читателей, и потому же заставлять нас читать страдания предков, почему сострадание и уважение заставляя молодого внука терпеливо выслушивать рассказы о мелких подробностях жизни старого и больного деда?

«Доселе, — говорит автор, — *доселе древние служат нам образцами*. Никто не превзошел Ливия в *красоте повествования*, Тацита в силе: *вот главное!* Знание *всех прав в свете* (?), ученость немецкая, остроумие Вольтерово, ни самое глубокомыс-

лие Макиавеллево в историке не заменяют таланта изображать действия». Припомним сии слова: они замечательны.

Мы могли бы выписать, разобрать все предисловие к «Истории государства Российского»: читатели увидели бы тогда дух, план, расположение творения Карамзина и согласились бы с мнением нашим, что Карамзин *как философ, как прагматик* есть писатель не нашего времени. Но и приведенных нами мест достаточно, чтобы показать, как понимал, как писал Карамзин свою историю.

Прочитайте все 12 томов «Истории государства Российского», и вы совершенно в том убедитесь. В целом объеме нет ни одного общего начала, из которого истекали бы все события русской истории: вы не видите, как история России примыкается к истории человечества; все части оной отделяются одна от другой, все несоразмерны, и жизнь России остается для читателей неизвестною, хотя его утомляют подробностями неважными, занимают, трогают картинами великими, ужасными, выводят перед ним толпу людей, до излишества огромную. Карамзин нигде не представляет вам духа народного, не изображает многочисленных переходов его, от варяжского феодализма до деспотического правления Иоанна и до самобытного возрождения при Минине<sup>37</sup>. Вы видите стройную, продолжительную галерею портретов, поставленных в одинакие рамки, нарисованных не с натуры, но по воле художника и одетых также по его воле. Это летопись, написанная мастерски, художником таланта превосходного, изобретательного, а не *история*.

«Но, — скажут нам, — если так, то сочинение Карамзина пойдет именно к тому роду историй, который мы выше сего называли *повествовательным*. Карамзин, сказавши, что древние служат нам *образцами* донныне, что *сила и красота повествования есть главное для историка*, конечно, успел поддержать свое мнение исполнением».

Но Карамзин видел в древних образцы превратно, и поставив силу и красоту повествования главным, кажется, не знал, что он делает то же, что делали классики французские, подражая древним. Французская трагедия, в сравнении с трагедиею греков, есть то же, что история Карамзина в сравнении с историею Иродота и Тита Ливия. Так и здесь не понятно, что древние совершенно сливались с предметом; самобытность древних исчезала, так сказать, в предмете, который преобладал их воображением, был их верою. Французские классики и Карамзин, напротив, дух свой, самих себя, свои понятия, чувствования облекали в формы предмета, их занимающего; оттого все пред-

ставлено у французских классиков и у Карамзина неверно и превратно. Возьмем творение его только с одной стороны в сем отношении.

История русская начинается прибытием грозных морских разбойников к племенам полудиких славян и финнов. Пришельцы разбойники суть страшные нордманны; они поработают славян и финнов. Сии два элемента борются, изменяются в руссов, свычка с деспотизмом Азии и Греции, патриархальное правление покоренных славян и открывшийся для варяжских искателей приключений путь в Царьград; истребляют обыкновенный нордманнский феодализм, являя феодализм совершенно особенный: удельную систему одного владычествующего семейства князей русских. Уделы распадаются; вера христианская изменяет характеры вождей и народа; является борьба уделов, сияющихся слиться в одно целое; на севере, от удаления русских князей на юг и естественного положения страны, является республика Новгородская; все падает под иго монголов. Дух народа борется с сим игом, освобождается и являет в России одно деспотическое государство, которое вскоре разрушается под собственную свою тягость. *Раб* делается *царем*, ужасая единственно могуществом имени; но это была крайняя степень деспотизма: ужас имени исчез — настала эпоха новая. Падение Новагорода и свирепость Грозного были необходимы для слияния воедино растерзанных частей государства; насильственное слияние требовало сильного внутреннего брожения, и век самозванцев низвергнул деспотизм, разбудил самобытный дух народа: он создан из сильных элементов, испытанных в бурях феодализма, поработения, деспотизма, и — Россия ожила под кротким, благодетельным самодержавием великой династии Романовых; с Мининым началась история России *как государства*, с Петром — *как государства европейского*.

Карамзин предположил себе совсем другое, и уже в названии его книги: «История *государства Российского*» — заключена ошибка. С прибытия Рюрика<sup>38</sup> он начинает говорить: *мы, наше*; видит *Россиян*, думает, что любовь к отечеству требует облагорожения варваров, и в войне Олега<sup>39</sup>, в войне Иоанна Грозного<sup>40</sup>, войне Пожарского<sup>41</sup> не замечает разницы; ему кажется *достоинством гражданина образованного правило государственной нравственности*, требующее *уважения к предкам*. После сего можете ли ожидать понятия, что до Иоанна III<sup>42</sup> была *не Россия*, но Русские государства; чтобы в Олеге видел автор нордманнского варвара; в борьбе уделов отдал равную справедливость и Олегу Черниговскому, и Владимиру Монома-

ху? <sup>43</sup> Нет! И не найдете этого. Олег *пылает* у него *славолюбием героев, и победоносные знамена сего героя развеваются на берегах Днепра и Буга*; Мономах является ангелом-хранителем законной власти, а Олег Черниговский *властолюбивым, жестоким, отвергающим злодейство только тогда, когда оно бесполезно, коварным бунтовщиком*; на целое поколение Олеговичей падает у него позор и посрамление! Так в Рюрике видит он монарха самодержавного, мудрого; в полудиких славянах народ славный, великий, — даже воинские трубы Святославовых <sup>44</sup> воинов Карамзин почитает доказательством *любви россиян к искусству мусикийскому!*

После всего этого удивительно ли, что европейские ученые, ожидавшие истории Карамзина с нетерпением, приняли сие творение холодно, не дают ему места между знаменитыми историками новейшими, Нибуром, Тьерри, Гизо, Барантом и другими. Карамзин не выдерживает сравнения и с великими историками прошедшего века, Робертсоном, Юмом, Гиббоном, ибо, имея все их недостатки, он не выкупает их тем обширным взглядом, тою глубокою изыскательностью причин и следствий, какие видим в бессмертных творениях трех английских историков прошедшего века. Карамзин так же далек от них по всему, как далека в умственной зрелости и деятельности просвещения Россия от Англии.

Люди, привыкшие видеть недоброхотство и зло во всяком беспристрастном суждении, скажут, что мы отнимаем у Карамзина все его достоинства, хотим унижить сего великого человека в глазах современников, укажут нам на голос всего отечества, воздающего ему единодушную похвалу. Оправдываемся, указывая таким людям на то почтительное уважение, с каким мы говорим о Карамзине. Но не будем безотчетны в восторге благодарности и постараемся отдавать самим себе верный отчет в своих чувствах!

Напротив, не только не хотим мы унижать Карамзина, но возвысим его, может быть, более, нежели осмелятся возвысить самые слепые приверженцы. Мы скажем, что никто из русских писателей не пользовался такою славою, как Карамзин, и никто более его не заслуживал сей славы. Подвиг Карамзина достоин хвалы и удивления. Хорошо зная всех отечественных, современных нам литераторов, мы осмеливаемся утверждать, что ныне никто из всех литераторов русских не может быть даже его преемником, не только подумать шагнуть далее Карамзина. Довольно ли этого? Но Карамзин велик *только для нынешней России, и в отношении к нынешней России* — не более. <...>



Слава, которую единодушно отдает какой-либо народ одному человеку, не бывает ошибкою, ибо сей *один*, если он приобрел такую славу, есть истинный представитель народа, его прославляющего; он совпадает с народом и превышает его. Подвиг Карамзина в истории отечественной, для нас, русских, так же велик, как подвиг его в нашей литературе. В сем случае иностранцам нельзя судить нас, ибо они не знают наших отношений, коими оправдывается цена всему. Постараемся представить доказательства справедливости того удивления, какое возбуждает Карамзин в своем отечестве.

1. Можно ли не оценить достойно смелости предприятия Карамзина? Необыкновенный ум виден в каждом его предприятии литературном. Он угадывал потребности своего времени, умел удовлетворять им, и в 1790 году думал и писал: «Больно, но должно по справедливости сказать, что у нас до сего времени нет хорошей российской истории, то есть писанной с философским умом, с критикою, с благородным красноречием. Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна: не думаю; нужен только ум, вкус, талант. Можно выбрать; одушевить, *раскрасить*, и читатель удивится, как из Нестора<sup>45</sup>, Никона<sup>46</sup> и проч. могло выйти *нечто привлекательное*, сильное, достойное внимания не только русских, но и чужестранцев»<sup>47</sup> (Сочинения Карамзина (изд. третье). М., 1820 г., т. IV, с. 187). В течение 12-и лет после того он не оставлял сей мысли, удивлялся соотчицей мастерскими опытами (описание бунта при царе Алексии; путешествие в Троицко-Сергиеву лавру и проч.) и в 1802 году начал Историю. Надобно знать, надобно испытать всю трудность подобного предприятия, знать, что нашел Карамзин и что оставил после себя. Он создавал и материалы, и сущность, и слог истории, был критиком летописей и памятников, генеалогом, хронологом, палеографом, нумизматом.

2. Надобно хорошо рассмотреть и понять, какой шаг сделал Карамзин от всех своих предшественников. Кто, сколько-нибудь сносный, являлся до него, кроме француза Левека (и той же Самарянин!)<sup>48</sup>, Щербатов<sup>49</sup>, Эмин<sup>50</sup>, Нехачин<sup>51</sup>, Хилков<sup>52</sup>, Татищев<sup>53</sup> стоят ли критики? Наши издатели летописей, частных историй, изыскатели древностей оказывали глубокое незнание и часто совершенное невежество. Скажем более, заметим, чего, кажется, еще не замечали: критики на Карамзина, нападки г-д Каченовского<sup>54</sup>, Арцыбашева<sup>55</sup> и клеветов «Вестника Европы», самая защита Карамзина г-м Руссовым<sup>56</sup> и г-м Дмитриевым<sup>57</sup> не доказывают ли превосходства человека необыкновенного над людьми, не умеющими ни мыслить, ни писать, едва

могущими владеть небольшою ученостью, какая мелькнет иногда в их тяжелых и нестройных созданиях?

3. Карамзин оказал незабвенные заслуги открытием, приведением в порядок материалов. Правда, еще до него сделаны были попытки, и труды почтенных мужей, Байера<sup>58</sup>, Тунмана<sup>59</sup>, Миллера<sup>60</sup>, особливо знаменитого Шлецера<sup>61</sup> были значительны, важны. Но никто *более Карамзина* не оказал заслуг российской истории в сем отношении. Он обнял всю историю русскую, от начала ее до XVII века, и нельзя не грустить, что судьба не допустила Карамзина довести своего обозрения материалов до наших времен. Начал он деятельно, и как будто оживил ревность других изыскателей. Граф Румянцев<sup>62</sup> с того времени начал покровительствовать подобным предприятиям, и под его покровительством трудились посильно гг. Калайдович<sup>63</sup>, Строев<sup>64</sup>, Погодин<sup>65</sup>, Востоков<sup>66</sup> и другие, все заслуживающие, хотя и не в равной степени, нашу благодарность; изыскивались материалы за границую России; переводились известия писателей восточных; печатались акты государственные. Самая Академия наук как будто ожила и показала нам в гг. Круге<sup>67</sup>, Френе<sup>68</sup>, Лерберге<sup>69</sup> достойных преемников Шлецера и Миллера; многие (Баузе<sup>70</sup>, Вихманн<sup>71</sup>, граф Ф. А. Толстой<sup>72</sup>) начали собирать библиотеки русских достопамятностей; образовались вообще палеография, археография, нумизматика, генеалогия русская. Скажут, что таково было стремление времени. Но Карамзин угадал его, Карамзин шел впереди всех и делал всех более. Дав живительное начало, оставив в первых томах драгоценное руководство всем последователям своим, Карамзин наконец (в этом должно признаться) как будто утомился: 9, 10, 11-й и особенно 12-й томы его Истории показывают, что уже не с прежнею деятельностью собирал и разбирал он материалы. И здесь видно, сказанное нами, что в двенадцати томах Истории своей Карамзин весь; однако ж расположение материалов, взгляд на них, были бы для нас драгоценны и при усталости Карамзина, с которою нельзя сравнить самой пылкой деятельности многих.

4. Но до конца поприща своего Карамзин сохранил ясность, умение в частной критике событий, верность в своих частных означениях. Не ищите в нем высшего взгляда на события: говоря о междоусобиях уделов, он не видит в них порядка, не означает вам причин, свойства их, и только в половине XV века говорит вам: «Отсель история наша приемлет достоинство истинно государственной, описывая уже не бессмысленные драки княжеские... союзы и войны имеют *важную цель*: каждое особенное

предприятие есть следствие *главной мысли, устремленной ко благу отечества*» (Том IV, с. 5 и 6). Ошибка явная, замеченная нами с самого Введения, где Карамзин назвал первые пять веков истории русского народа *маловажными для разума, небогатыми ни мыслями для прагматика, ни красотою для живописца!* С IV тома историк признает уже *достоинство русской истории, но и в этой имеющей государственное достоинство* (?) истории не ищите причины злодейств Иоанна, быстрого возвышения и падения Бориса, успехов Самозванца, безначалия, после него бывшего. Читаете описание борьбы России с Польшею, но не видите, на чем основывается странное упорство Сигизмунда<sup>73</sup>, вследствие коего он, согласившись сперва, не дает потом России сына своего; не видите того, на чем основано спасение России от чуждого владычества. Придет по годам событие, Карамзин описывает его и думает, что исполнил долг свой, не знает или не хочет знать, что событие важное не вырастает мгновенно, как гриб после дождя, что причины его скрываются глубоко, и взрыв означает только, что фитиль, проведенный к подкопу, догорел, а положен и зажжен был гораздо прежде. Надобно ли изобразить (нужную, впрочем, для русской истории) подробную картину движения народов в древние времена: Карамзин ведет через сцену киммериян, скифов, гуннов, аваров, славян, как китайские тени; надобно ли описать нашествие татар: перед вами только картинное изображение Чингис-Хана;<sup>74</sup> дошло ли до падения Шуйского:<sup>75</sup> поляки идут в Москву, берут Смоленск, Сигизмунд не хочет дать Владислава<sup>76</sup> на царство и — более нет ничего! Это общий недостаток писателей XVIII века, который разделяет с ними и Карамзин, от которого не избегал иногда и самый Юм. Так, дойдя до революции при Карле I<sup>77</sup>, Юм искренно думает, что внешние безделки оскорбили народ и произвели революцию; так, описывая крестовые походы, все называли их следствием убеждений Петра Пустынника<sup>78</sup>, и Робертсон говорит вам это, так же как при Реформации вам указывают на индульгенции, и папскую буллу, сожженную Лютером<sup>79</sup>. Даже в наше время, повествуя о Французской революции, разве не полагали, что философы развратили Францию, французы по природе ветреники, одурели от чада философии, и — вспыхнула революция! Но когда описывают нам самые события, то Юм и Робертсон говорят верно, точно: и Карамзин также описывает события как критик благоразумный, человек, знающий подробности их весьма хорошо. Только там не можете положиться на него, где должно сообразить характер лица, дух времени: он говорит по летописцам, по своему основному пред-

положению об истории русской и нейдет далее. К тому присовокупляется у Карамзина, как мы заметили, худо понятая любовь к отечеству. Он стыдится за предка, *раскрашивает* (вспомним, что он предполагал делать это еще в 1790 году); ему надобны герои, любовь к отечеству, и он не знает, что *отечество, добродетель, геройство* для нас имеют не те значения, какие имели они для варяга Святослава, жителя Новгорода в XI веке, черниговца XII века, подданного Феодора<sup>80</sup> в XVII веке, имевших свои понятия, свой образ мыслей, свою особенную цель жизни и дел.

5. Заметим еще, что Карамзин, оставшись тем же, чем был и при других литературных занятиях, не изменяя своему духу, не выходя из условий своего времени, умел изменить внешние формы. Логический порядок его идей выше всех современников; образ мыслей благородный, смелый, в том направлении, какое почитает Карамзин лучшим. На каждую главу его Истории можно написать огромное опровержение, посильнее замечаний г-на Арцыбашева; едва ли не половину страниц его творения можно подвергнуть критике во многих отношениях, но нигде не откажете в похвале уму, вкусу, умению Карамзина.

6. Наконец (припомнил: *главное*, по словам самого Карамзина), ум его, вкус и умение простерлись на язык и слог Истории в такой сильной степени, что в сем последнем отношении для нас, русских, Карамзина должно почесть писателем образцовым, единственным, неподражаемым. Надобно учиться у него этому рифму ораторскому, этому расположению периодов, весу слов, с каким поставлено каждое из них. Н. И. Греч принял, при составлении Грамматики русского языка, все касательно сего предмета в Истории Карамзина за основные правила, ссылался на нее как на авторитет и не ошибся. Кроме Пушкина, едва ли есть теперь в России писатель, столь глубоко проникавший в тайны языка отечественного, как проникал в них Карамзин.

Красноречие Карамзина очаровательно. Не верите ему, читая его, и убеждаетесь неизъяснимою силою слова. Карамзин очень хорошо знал это и пользовался своим преимуществом, иногда жертвуя даже простотою, верностью изображений. Так он изображает нам царствование Иоанна IV, сперва тихо, спокойно, величественно, и вдруг делается суровым, порывистым, когда наступило время жизни не супруга Анастасии, не победителя Казани, ни Тиверия Александровской слободы, убийцы брага, мучителя Воротынского;<sup>81</sup> ту же противоположность разительно заметите между I и II главами XII тома. Но это замет-

ное, следственно, неловкое усилие искусства могут ли не выкупить бесчисленные красоты творения Карамзина! Не говорим о IX, X и XII томах, где жизнь митрополита Филиппа<sup>82</sup>, смерть царевича Иоанна, самого Иоанна IV, избрание Годунова<sup>83</sup>, низвержение Дмитрия Самозванца<sup>84</sup> суть места, неподражаемо написанные: они станут наряду с самыми красноречивыми, бессмертными страницами Фукидидов, Ливиев, Робертсонов, и в сем отношении слова почтенного издателя XII тома «Истории государства Российского»: «Карамзин не имел несчастья пережить талант свой» — совершенно справедливы. Но и в 12 томе есть места изумляющего красноречия, например: Шуйский перед королем Польским и смерть Ляпунова<sup>85</sup>. Уже рука Карамзина коснела, а дух его все еще хранил юношескую бодрость воображения.

Вот неотъемлемые достоинства и заслуги нашего незабвенного историка. Если мы строго судили его недостатки, то, конечно, никто не может сказать, чтобы мы не оценили и достоинств его. Сочинитель сей статьи осмеливается думать, что, посвятив себя занятию отечественной историей с самой юности, ныне, после многолетних трудов, он может с некоторою надеждою полагать, что имеет перед другими почитателями великого Карамзина преимущественное право говорить о достоинствах и недостатках его.

Не будем поставлять в заслугу Карамзину, что он, может быть, не был так приготовлен к труду своему, как знаменитые европейские его соперники. Карамзин получил образование не ученое, но светское; он впоследствии сам перевоспитал себя: тем более ему чести, но нам нет никакой надобности до частных средств и способов писателя: мы судим только его творение. Заметим здесь мимоходом: были и теперь есть люди в России, более Карамзина знающие какую-либо часть, к русской истории относящуюся, но сие частное знание поглощает все другие их способности и не дает им средства даже и подумать сравниться с великим творцом «Истории государства Российского»: они каменщики, Карамзин зодчий, и великий зодчий. Здание, им построенное, не удивляет целого мира, подобно зданиям Микель-Анджелов<sup>86</sup>, но тем не менее оно составляет честь и красу своего века для той страны, в коей оно воздвигнуто.

И современники-сограждане были справедливы к великому Карамзину. Творение его еще долго будет предметом удивления, чести и хвалы нашей. Карамзин научил нас истории нашей; идя по следам его, мы со временем научимся избегать его погрешностей и недостатков, можем и должны сравнивать его с

гениальными творцами и воздавать ему не безусловную хвалу крикливого невежества, но в то же время с негодованием отвергаем мы порицателей человека необыкновенного. Он был столь велик, сколь позволяли ему время, средства, способы его и образование России: благодарность к нему есть долг наш.

## **О критике г-на Арцыбашева на «Историю государства Российского», сочиненную Н. М. Карамзиным**

Из сочинений С. Руссова. СПб., 1829

Эта небольшая книжечка одолжена бытием странному явлению, которое в конце прошедшего года показалось в «Московском Вестнике». Г-н Арцыбашев с самого появления Истории государства Российского объявил жестокую войну великому творению Карамзина. Он находил некогда приют в «Вестнике Европы», издатель которого не жалуется Истории Карамзина наравне с стихами Жуковского и Пушкина; потом г-н Арцыбашев переносил свои батареи в «Казанский Вестник» и наконец, казалось, замолчал. Вдруг в «Московском Вестнике» пригрели критики г-на Арцыбашева и они явились все вновь и в жестоком выпаде. К удивлению, г-н Погодин, уверяя в почтении к Карамзину, жарко принял сторону г-на Арцыбашева, и г-н Строев, клянясь в преданности Карамзину, присоединился к ним. Здесь оказалось, что литературное мнение у нас существует: публика и литераторы единогласно восстали и с негодованием отвергли подвиги литературного триумvirата; началось писание и — не кончилось еще доньше.

Но незрелость нашей литературы явно оказалась в этом деле. Как безусловно уважали Карамзина, так же безусловно и вознегодовали на покушавшихся против его славы. Всем, что написано доньше против г-на Арцыбашева, что доказано? Ничего. Разве исключая явной улики в неприличии тона, какой принял г-н Арцыбашев в своей критике. Но кто ж этого не видал из самых простых читателей? Стоило ли только на этом остановиться? И видно: что добрая воля у нас есть, но знания дела, охоты и терпения нет.

По-настоящему надобно бы ополчиться против г-на Арцыбашева совсем не так. Самую улику в неприличии тона его крити-